

Санжа Балыков.

## Смерть Ад'яна.

Бойким чистеньким приказным, с именными серебряными часами за отличную рубку, с большим желтым сундуком, полным форменной казачьей одежды и гостинцев для родных, вернулся Ад'ян с действительной службы в свою станицу, где ждала его у своих родителей жена Алта с шестилетним сыном Чингисом.

Погостив неделю две по родным и соседям, пощеголяя формой, погарцевав на своей полковой лошади по станице, он успокоился и, переодевшись во всё домашнее, будничное, поехал за Маныч опять заниматься в табунщики.

Ад'ян знал, что обзаводиться собственным двором и жить самостоятельным хозяином в своей станице ему, по его бедности, будет трудно, а в табунщиках, на хозяйских харчах для семьи и кормах для скота да еще с жалованьем, он гораздо скорее делается зажиточным хозяином. Совет своей жены — жить вместе с тестем — он не принял, так как такое положение считается у калмыков недостойным хорошего мужчины.

Старый хозяин охотно принял уже знающего табунное дело Ад'яна, который скоро втянулся в свое прежнее ремесло.

Жизнь его опять пошла по старому. Через три года он был уже старшим в одной части табуна. Положением своим Ад'ян был доволен. Хозяйство его росло с каждым годом. Алта родила ему еще одного сына. Семейная жизнь его была тиха и безмятежна, полна взаимной любви. Она была для него главной радостью в жизни, смыслом в ней. Семьею своею он был горд и счастлив.

Но не долго пришлось сидеть Ад'яну дома. Нагрянула война и ему пришлось, как второсередному казачку, вытаскивать залежавшуюся полковую форму, надевать шапку, седлать строевого коня и ехать на сборный пункт, а там и дальше, на фронт.

Два года пробыл Ад'ян на фронте, успел отличиться — заслужить крест, получить урядника, но конца войны все не было. И вдруг пришла ему выручка, откуда не ожидал.

Когда Донские частные коннозаводства были признаны „предприятиями, работающими на оборону государства“ и было приказано всех калмыков табунщиков, как незаменимых специалистов, вернуть к табуну, прибыл домой и Ад'ян.

После долгой разлуки и пережитых опасностей на войне, опять потекла ладная жизнь в семье и при любимом деле. Через год, когда старый ревизор табуна Учур попросился на покой, занедывание табуном было передано Ад'яну. Теперь он получал 500 рублей в год, мог размножать скот до сотни голов, косить сколько угодно сена...

Ад'яни чувствовал, что счастье его дошло до размера, дальше которого он уже и не мечтал.

Революция 1917 года не произвела среди табунщиков никакого впечатления.

„То — не наше дело. Ушел один царь, другой какой-нибудь сядет. Наше дело разводить лошадей, которые, как оказалось, очень нужны государству“ — как будто говорил каждый табунщик.

Наступил, между тем, октябрь русской революции. Дон объявил себя самостоятельным государством. Москва послала туда войск для покорения его. Застрелился выборный Донской атаман Каледин...

По степи начали рыскать шайки конных вооруженных мужиков-грабителей, называвших себя большевиками. Слышно было, что они забирают все ценное, короче, что при этом они убивают невинных людей, насилюют женщин и что закона карающего нет на них в государстве.

Все это было так необыкновенно, ново, что люди растерялись, зажили в тревоге, в ожидании чего-то плохого.

В Ад'яновом котоне пока все было благополучно. Сам Ад'ян с подшеенными табунщиками, за отсутствием хозяина и растерянностью управляющего, угнал весь трехтысячный табун в глубь степи, подальше от селе-

ний, проезжих дорог и спасал его от безумных хищников.

Табунщики по очереди, преимущественно по ночам, навещали свои семьи и запасались провизией.

Была темная февральская ночь, когда наехала на Ад'янов хотаи шайка мужиков и, разбредясь по землянкам, начала чинить обычные „облески“.

Алта с сыновьями уже спала. Внутренность маленькой незатейливо убранной землянки освещалась лампадкой перед божницей.

Выстрел, вдруг раздавшийся у землянки, заставил ее проснуться, вскочить и кинуться отворять дверь, которая под чьими-то ударами уже трещала и ломалась.

Направляя на нее штык, с грубым непонятным окриком и матерщиной вошел рябой, на один глаз слепой мужик в серой солдатской шинели, в серой облезлой папахе с опущенными ушками. За ним еще один, пониже ростом, помоложе.

У Алты от страха отнялся язык. Не зная что делать, дрожа и щелкая зубами, в одном нижнем белье, подошла она к проснувшимся детям и заботливо начала укрывать их одеялом.

— Ага!.. куначка молодя попалась, небось еще тепленькая с постели-то?.. Пятруха, товарищ, начни што-ль ты, а я пока по сундукам, — проговорил первый и принялся прикладом винтовки разбивать крышки жестрых калмыцких сундуков.

— Ложись, мачка! Живо, а то я те штыком в брюхо! — приказал Петруха, шагая к Алте.

— Зачем ложить?.. Бож мой!.. ни надо, мальчишек боютца, усе там бери!.. попыталась заговорить Алта, заслоняя собою детей.

— Ну там, яще баешь! Ложись! — заорал мужик, хватая Алту за шею и валяя ее воле детей.

Диким нечеловеческим голосом закричала она, забывая все на свете. Думая, что разбойники убивают их мать, громко заплакали дети.

Вдруг Чингис, старший мальчик, вскочил с кровати, подбежал к шкафу и, вытащив отцовскую шапку, бросился на насильника.

— Стой!.. брось, змееныш! — заорал другой мужик, шаривший по сундукам, хватаясь за винтовку.

Но Чингис уже успел опустить занесенный палаш на голову разбойника и тут же сам упал с разбитым черепом.

— Ах ты, проклятый гаденек! — заревел раненный мужик, оставляя Алту и, схватив винтовку, в бешенстве швырнул штыком в живот громко плакавшему меньшему мальчику.

Алта успела заметить только смерть старшего сына и потеряла сознание.

— Товарищ, он, кажись, меня поранил, посмогри-ка и перевяжи, — попросил Петруха, кидая другому солдатский пакетик.

— Рана пустяшная, известное дело, что мальчуган мог сделать, — говорил тот, перевязывая рану и сопя носом.

— Хорошо что мальчишек успокоили!.. тихо оно теперь стало, лучше!.. а мать обомлела!.. ну, ничего, вот я примусь за нее, так от меня проснется, — продолжал он рассуждать, — ты посмотри Пятруха, как будто бедные табунщики, а сундуки полны добра, там тебе — все шелка, меха да сукна — проговорил он, кончая перевязку.

— Потому они буржуи, еще в станицах они землю вмеют, казакки же они, хоша и комлыки — отвечал Петруха.

— Ну, Пятруха, ты поди в сундуках полавь, возьми што тебе надо, да вон в божнице то итней пошарь, говорят, деньги они туда кладут, а я на куначку примусь, — промолвил первый, подходя к неподвижно лежащей Алте.

— Эге!.. Она уже холодна вся, капут ей пришел, насмерть ты, значит, комлычку!.. Ну, и чорт с ней, найдем ишшо, — спокойно заключил он, отходя от трех трупов.



Мужики переоделись в Ад'яновой землянке с ног до головы, но свою одежду все же не бросали, а уложили в мешок, чтобы унести.

Петруха теперь был одет в беличью, крытую черным шелком, шубу Алты.

— Ты смотри, товарищ, што твой генерал, — говорил он, поглаживая золотые позументовые украшения на груди шубы по темно-красному бархатному четырехугольнику.

На голову он напялил ее же ушастую шапку из черной сибирской паречи с желтым верхом и большим красным махром — „зала“. Другой был одет в Ад'янову темносинего сукна поддевку, подбитую белыми курпеками с черным каракулевым воротником. Подпоясан он был Ад'яновым поясом, с богатым серебряным набором на широком ремне. На голове у него уже была черная каракулевая шапка.

Когда грабители, плевком потушив лампадку, вышли на двор, в одной части хотона раздался разрыв бомбы.

— Слышь, это приказ собираться, комиссар говорил, сказал один и, сев на коней, поскакали туда, откуда послышался звук разрыва.

На окраине хотона, окликая в темноте друг друга, собиралась шайка.

— Славно мы поработали, — говорили между собой мужики, гурьбой выезжая из хотона на дорогу.

— Маленький хутонок, а кое-чего было порядошно, — заметил один из шайки.

— Ну, а хто товарищи на безвинную напал? — спросил в темноте начальнический голос.

— Я, товарищ комиссар.

— И я, и я, — раздалось еще два-три голоса.

Ишь ты, много. У них девки, знают, соблюдают, не то, что наши, — сказал один.

— А укукошили много? — небрежно спрашивал комиссар.

— Мы с Пятрухой трех: мать с двумя сынами.

— Я одного комлыка; хотел сына его, парня лет шаснадцати, ухлопать, да отец попросился взамен ему, ну, я и разрешил.

— Я одного старика с дочкой; старик за дочку заступался, с топором кидался.

— Правильно товарищи, нечего их жалеть, они тоже, нашего брата по пятом годе с казаками пороли и они же кавьки. Так, добре ребята понаслись, значит?

— Да уж куды, спасибо тебе, товарищ комиссар, попользовались...

— Рысью! — скомандывал комиссар.

Гулко отдаваясь в ночной тишине, зацокали подкованные кони по мерзлой степной целине. Разгромленный маленький Ад'янов хотон тускло осветил поздно выглянувший косой диск луны.

В эту же ночь возвращался домой от табуна и Ад'ян с одним из своих табунщиков.

— Что-то на душе не спокойно, как будто боксь чего-то, говорил Ад'ян спутнику, налаживая трубку и привычной рукой закуривая на ходу одной спичкой... —

Главное, позапрошлой ночью плохой сон видел, и как раз под утро, когда спи почти не лгут.

Снилось мне, будто кто-то три коренных зуба у меня со страшною болью вырвал. А это не хороший сон. С того дня и не по себе мне.

— Сейчас же после плохого сна нужно плюнуть на землю три раза, да три раза повторить: „Что ночной сон, что сливка на воде — одинаковы“, ну, а потом нужно поехать к геллину и заказать молитву против плохого сна, это самое верное дело, отвечал ему табунщик.

Было уже за полночь, когда подехали они к своему хотону, едва различаемому в темноте беспесенной зимней ночи.

Пустые коня в сеник. Ад'ян подошел к двери своей землянки и, к своему удивлению, заметил, что она раскрыта, а там, внутри, царит жуткая тишина, холод.

Что-то зануло, замерло у него в груди. Быстро шагнул он внутрь, дрожащей рукой чиркнул спичку и то, что бросилось ему в глаза, заставило его вздрогнуть и уронить спичку. Другая вспыхнувшая спичка убедила, что ему не померещилось и что перед ним ужасная правда.

Ад'ян протяжно и мучительно застонал.

Всю ночь рыл Ад'ян под своей землянкой (на дворе земля была мерзлая) и к утру вырыл глубокую яму.

Обмыв и одев все три, дорогие ему тела в белые рубашки, завернув каждое в белую полсть, опустил их в могилу, засыпал землей и сравнял. О похоронах по религиозным обрядам он не подумал. Потом собрал в одну кучу все вещи в землянке, всю домашнюю рухлядь, натаскал на них соломы, облил дегтем, керосином и зажег.

Ад'ян был словно в бреду, глаза его горели, оскаленные зубы были крепко стиснуты и, время от времени, скрипели. Когда от землянки остались лишь обгорелые стены, вооружившись большим дрючком, разбил и развалил он и стены.

Превратив свое жилище в груды обгорелой земли и золы над могилой своей Алты и сыновей, Ад'ян растворил баз, выпустил весь скот и, крикнув соседям, чтоб разбирали, оседлал коня, сел и, не сказав никому ни слова, выехал из хотона.

(Окончание следует).

Гнат Макуха

\* \* \*

О, милий краю, тихий світе!  
Чи ти найгрішніший, мій квіте,  
Що всі тебе так обдирають  
Та на хресті все роспинають?  
Чи ти не так Йому молився,  
Що Він на тебе розгнівився, —  
Послав неволю, лихо, тугу  
А вкупі й москаля катюгу,  
Який гнітив і знову гніте  
Та добива тебе, мій квіте...

— Оттак в ночі я промовляю,  
Думки на небо посилаю  
І там високо, аж у Нього,  
Для краю рідного могого  
Я долю й волю ту прохаю, —  
Чи випрося ж я їх — не знаю.  
За неню рідную свою,  
Кубань обідрану мою  
Тебе я, Господи, прохаю,

В Тобі я правди ще шукаю,  
Бо на землі її не знають —  
І вже люде гут не мають.  
Зміни Ти гнів, зміни на милість  
Та покажи свою Ти щирість:  
Пошли Кубані, Боже, долю,  
Верни загублену знов волю,  
Верни... Дай знову прославляти, —  
Бо не молити буду, — кляти, —  
Хоч потім, Господи, пошли  
Мене у пекло, — де пішли  
Всі ті, що душі загубили,  
Що брата рідного вдушили...  
— Оттак я Бога все молю  
За неню рідную мою  
І нишком теж Його питаю:  
Чи повернусь коли до Краю?  
Узрю Кубань — мій рідний Край,  
І той мій степ, і той мій гай?...  
Оттак Всевишнього спитаю  
І, як дитина, зарідаю...